

У нее оказалось время. Это сама по себе вещь невероятная, но как всякая роскошь, сваливаясь внезапно на нищего, вызывала оторопь. И желание спрятаться либо оправдаться. Поэтому она и остановилась, сойдя с провалившейся кое-где пригородной железнодорожной платформы. Остановилась, сказала сама себе, что бежать некуда и, замедлив шаг, неторопливо пошла по убитой до каменности тропке, пролегшей вблизи торчащих из черного шлака шпал.

Действительно, куда торопиться? Светит полуденное солнце, пригородная электричка с шумом и воем усвистала дальше, неся в своих переполненных недрах истекающих потом пассажиров. Дома знают, что она уехала к университетской подруге в гости на два дня. Подруга как бы ждет ее, но как бы и нет: сколько раз они в письмах и по междугородному телефону договаривались наверняка, но потом непредвиденные обстоятельства рушили уверенность в близкой встрече. Если честно, то и поехать-то она решила потому, что устала. И появилась поездка к подруге в милый провинциальный городок на два летних выходных дня. А раз так, то можно остановиться, вытряхнуть острый камушек из-под стопы в босоножке, сощуриться в невероятно синее небо с белыми облаками, вдохнуть чуть кислородный, с гарью, запах железнодорожных шпал и неторопливо пойти по тропе, уходящей от темной безжизненной насыпи к пышной зелени поселка за дощатыми заборами.

Те, кто сошел с электрички вместе с ней, давно уже рассыпались по пристанционным тропам, убежали суетливо по своим домам-садам, таща сумки, доски, баулы на колесиках. Тихо стало. Роскошно.

Роскошь надо уметь ценить. И не суетиться. Суета — признак нищеты. Богатый не суетится, знает, что у него не отнимут. А отнимут, еще останется, больше, чем отняли. Один богат деньгами — ну с этим все ясно. Другой — властью. Третий — славой. И с этим все понятно. Труднее понять того, кто богат временем. Некуда такому человеку торопиться, у него за спиной вечность и впереди безбрежность. Вот таким людям она всегда завидовала особенно остро. А теперь вот и ей перепало. Никто нигде ее к определенному часу не ждет. Никто точно не знает, где она находится. Не надо нестись сломя голову, кляня себя, кого-то и что-то за возможность опоздания. Ничего непоправимого не случится. Вот она может пройти тропу до переулочка между серыми заборами за пять минут, а может за десять — ничего не изменится. Всего этого не понять, конечно, детям и старикам, безработным и мамашкам с младенцами в колясках. Они счастливые, у них времени невпроворот.

Когда-то и она была богата временем. В детстве. В отрочестве. Когда стала молодой матерью. Наверное, когда-нибудь она опять обретет это богатство, став бабушкой. Если доживет. А пока ее время то растягивается, как резина, заставляя жмуриться от неизбежного щелчка, то сжимается в тугую пружину, которая, конечно же, обязательно выстрелит.

И вдруг вот такая роскошь — свободное время. Можно вспомнить детство. Или юность. Лучше юность, она ближе, да и возможностей дарит больше, если с высоты пройденных лет махнуть рукой на все комплексы и завихи, а оставить только восторг жизни, упругость юного тела и щедрость воображения. На ней ситцевое цветастенькое платье с белым батистовым шитьем. Юбка широкая, а талия узкая, и она охотно колышет складками, ступая по тропе и следя за своей тенью, бегущей впереди. Солнце теплыми ладонями поглаживает плечи, а ветерок откидывает тяжелые пряди каштановых волос, стриженных «под каре». В руке легкая сумка, поэтому можно выпрямиться, чуть выгнуть поясницу и втянуть живот, по тропинке ступать не как попало, а деликатно, в струночку, поглядывая на узкие носы белых босоножек. И думать, что молода, хороша и обаятельна. При этом можно еще поглядывать по сторонам — времени достаточно, а любопытного вокруг немало.

Справа глухой забор с густым вишенником поверху вдруг оборвался, пошел зеленый штакетник, за ним разноцветные садовые ромашки и три окошка в белых наличниках. А слева в тени забора остановились две козы, ощипывая ветку, вылезшую в заборную щель. Серая коза торопливо обгладывает ветку, а белая, подрагивая задранным хвостом, пощипывает небрежно, все оглядывается на бабку в застиранном серо-белом халате с хлястиком по широкой сутулой спине. На бабке синий платок, она ковыляет впереди и, не оборачиваясь, покрикивает: «Миака, Милка». Вот белая козочка боднулась в воздух и во всю прыть за бабкой поскакала. Серая дощипывает листву на ветке — сейчас мекнет и мелкой рысцей побежит догонять, околачивая тяжелое вымя между ног. А бабка даже не оглянется, знает, что козы от нее не отстанут.

К подруге дорога лежит через пристанционный поселок, дачи и бурьянное поле. За пыльным асфальтовым шоссе, обросшим кустами акации, начинается пригород — однообразные белостенные пятиэтажки. У подруги там двухкомнатный рай, обретенный после пяти лет общежитского ада. Туда можно не торопиться, потому что все, что встретится за порогом, хоть и мило, но знакомо до обрыдлости. Все как у всех: стенка и ковер в зале, шкафы с зеленым (или желтым) пластиком на кухне, двуспальная кровать с трехстворчатым гардеробом в спальне. Там же письменный стол — подруга за ним по вечерам проверяет тетрадки своих двоечников. Отличников в ее окраинной школе нет.

В двухкомнатном раю она сразу станет тетей для подругино сына, чужевой гостьей для подругино мужа. А здесь она без возраста. Молода, хороша и обаятельна. Идет по солнечной стороне проулка, сумочкой помахивает, каблучками постукивает, юбочкой покачивает.

Проулок вдруг открылся перекрестком. Поперечная дорога накатана в две колеи пошире проулка и манит свернуть, но пока проулок вперед тянется, лучше по нему идти. До дач, где проулок станет улицей. Дачи от пристанционного поселка отличаются: здесь штакетник встречается почаще, заборы пониже, а зелень деревьев погуще. Среди яблонь кое-где шумят березы, а то и сосна свои лапы раскинет на юго-восток. Дачи старинные, не чета «навозным домикам» или силикатным теремам новых русских. Таинственные дачи.

Возле одной она поневоле остановилась: полуоткрытая калитка будто сама пригласила. Поверх калитки видно, что тропа сквозь высокую траву ведет к двухэтажному бревенчатому дому с мезонином, окруженному верандой. Столбы у веранды с балясинами, между ними решетки поверху, как в детстве. Летом детский сад вывозили на дачу. Каждая группа жила в отдельном доме, а в столовую ходили парами, держась за руки. И

все было деревянное, разогретое солнцем и пахнущее масляной краской. Везде столбы пузатые, а между ними решетки из реек. Потом она этих решеток нигде не видела. Поэтому и остановилась. Осторожно тронула калитку, которая легко поддавалась, освобождая путь. Пошла по тропинке, чутко прислушиваясь: мол, если что, я здесь случайно оказалась, не воровка и не любопытная, а так.

Но никого за кустами у дачи не оказалось. Она успокоилась, стоя среди поляны, оглядывая веранду, открытую белую дверь и тюлевую занавеску за ней, слегка качаемую ветерком. Захотелось, как в детстве, забежать на веранду, прикинуть лбом к оконному стеклу, закрыв лицо ладошками по бокам, чтобы сквозь отсвечивающее облаками стекло увидеть таинственный омут комнаты. Ребячество. На веранду она все же поднялась, осторожно поскрипывая ступенями. Остановилась в нерешительности, хотела окликнуть кого-нибудь, но побоялась нарушить полудневную тишину. Постояла, послушала шелест березовой листвы над дачей и шагнула внутрь.

Внутри были тень и прохлада, но не это ее изумило, а обстановка. Как будто она попала в довоенное кино. Или в дореволюционное даже. Круглый стол с бахромчатой скатертью и салфеткой ричелье посередине. Высокая резная горка со стеклянными дверцами, диван с высокой же спинкой и зеркальцем посередине, с вышитыми крестом подушками в углах, у валиков. Пианино черное с двумя латунными подсвечниками. И чудесная керосиновая лампа с зеленым стеклянным колпаком на бронзовых цепях, свисающая с дощатого потолка. Тончайшего тюля занавески на окнах.

К занавескам она в первую очередь подошла и внимательно разглядела. Дырочки маленькие, кругленькие, тонкими ниточками переплетенные. Кое-где дырочки соединяются по две и более — старинный, ручной работы тюль порвался от ветхости. Такого тюля теперь нигде, кроме музея, не сыщешь, даже бабушки деревенские себе на окна фабричное синтетическое полотно вешают — стирается легко и без крахмала колом стоит.

От тюля перешла к горке. За тонким, неровной волны стеклом с геометрическим рисунком алмазной грани грудились блюдца с чашками, кофейники и фестончатые вазы на высоких ножках, улыбался розовощекий краснотелый пастушок в зеленых штанах и лимонно-желтой рубашке, потертой на сгибах. Одной рукой пастушок держал кнут, а другая была отбита, на нее, отбитую, пастушок и глядел, ища свою дудочку.

Прямо-таки музейная тишина завораживала. Она пошла неторопливо вокруг, рассматривая все и изредка легко, с оглядкой, касаясь пальцами. От этой привычки ее не отучили даже эрмитажные бабушки-смотрительницы — так приятно было притрагиваться к витым столбикам и полированным столешницам, впитывая то ли время, то ли тайны. Когда уж совсем нельзя было коснуться, она наклонялась так близко, как позволяло стекло витрин, чтобы увидеть все трещинки и выбоинки, оставленные веками на поверхности вещей. После летней безмятежности музейное очарование было ее второй радостью.

Комната скоро кончилась, за закрытыми двустворчатыми дверями угадывалось нечто еще, но открывать она не решилась, почувствовала, что это уже слишком. А вот деревянная лестница с площадкой-ракушкой посреди маршей ее не отпугнула. По ступенькам на цыпочках поднялась наверх. И попала в мезонин со скошенным потолком и балконной дверью. Здесь воздух разогрет близостью железной крыши, шелест березовой листвы казался громче. Вдоль правой стены стояли книжные шкафы до потолка со строго поблескивавшими стеклами, слева диван — копия того, что внизу.

Книги были ее третьей любовью. Она обожала раскрывать их, вдыхать запах типографской краски — сладковатый у новых, пыльно-кислый у старых. Читать выходные данные на последней странице, искать пометки на форзацах, пальцем пробегать по цветным обрезам, любоваться тиснением матерчатой обложки или глянец супер. Не люби-

ла только целлофановые, что-то в них было холодно-скользкое. Книги в шкафах стояли старые. Некоторые в темно-коричневых кожаных переплетах. Руки сами собой потянулись к дверцам.

Она услышала тяжеловатое поскрипывание ступенек, когда в руках у нее лежала небольшая книжка серой неказистой бумаги — прижизненный сборник блоковских стихов. Бежать было глупо, и она повернулась навстречу поскрипыванию, даже не пытаясь придумать оправдания. Хозяин такой дачи не мог быть скандалистом.

Он им и не был. Среднего роста мужчина в светлых брюках и белой рубашке с коротким рукавом неторопливо показался в дверном проеме. Постоял, спокойно глядя на гостью, спросил: «Вы любите Блока?». Похоже, он все свои книги узнавал с полувзгляда. Кто же не любит Блока? Особенно раннего, полного намеков, тайн и загадок. Вопрос скорее был задан для того, чтобы не напугать ее, одобрить, расположить — мол, все в порядке, вы здесь гостья, и гостья желанная. Таким и должен был оказаться хозяин этой чудесной дачи. И возраст у него был самый подходящий — около пятидесяти лет, хотя темные волосы могли и обмануть: а вдруг он моложе, морщины ведь не только от возраста появляются, особенно те, что на лбу. Зато голубые глаза в темных ресницах чудо как хороши. И ямочка на тугом, как у юноши, подбородке.

— Вы антиквар? — спросила она в свою очередь.

— Нет, эта дача — семейная реликвия. Родовое гнездо, хотя, возможно, это немного высокопарно звучит. Меня зовут Николай Николаевич, так звали отца, деда и прадеда.

— Лена, — ответила она и, пожав протянутую руку, озорно спросила: — Вашего сына тоже зовут Николай Николаевич?

— Нет, его зовут Антоном, придет послезавтра. Из Москвы. Он студент политеха, здесь ему от семейной традиции отступить не удалось.

— Вы так говорите, как будто выбор имени зависел от него, как выбор института!

— Нет, конечно, — мягко согласился Николай Николаевич, и ей не захотелось больше колотиться словами. Поэтому решила объяснить свое появление на даче.

— Мне сегодня почудилось, что я попала в детство. Шла по проулку от станции, увидела вашу дачу, которая показалась такой милой и таинственной! Я ждала чуда и не разочаровалась. Таких дач, наверное, не осталось нигде.

— Рад, что вам здесь нравится. Хотите чаю?

Она молча кивнула головой. Спустились в гостиную. За одной из двустворчатых дверей оказалась кухня: с кирпичной плитой, темным буфетом и кухонным столом с дверцами, на котором стоял примус.

— Вы даже электроплитку не заводите? А лампочка у вас хоть одна есть?

— Есть. Над вашей головой. Лампочка Ильича.

— Так с тех пор и висит, не перегорела?!

— Нет, просто она без абажура, — улыбнулся Николай Николаевич, наливая в пузатый, зеленой эмали, чайник воду из цинкового ведра.

И потекла беседа. Ей вторили примус и чайник на примусе, шелест березы, потом — звяканье серебряной ложечки о фарфоровые бока чашки (она не умела размешивать сахар бесшумно и сейчас мучилась, но никак не могла остановиться — чай она любила сладкий). Николай Николаевич рассказывал о даче, о прадеде — железнодорожном инженере, купившем ее для молодой жены. О деде, офицере-артиллеристе, погибшем после войны на стрельбах. Об отце, получившем сталинскую премию за какое-то изобретение. Они все любили свою профессию, своих жен, сыновей, эту дачу, этот городок на Оке. Приезжали сюда издалека, изо всех городов и стран, в которые заносила их судьба. А жены ждали их на этой даче, растили сыновей, сберегали фарфор и занавески, книги и вышитые крестом думочки.

О себе Николай Николаевич не рассказывал. Вернее, рассказывал только о своем детстве. И опять это был рассказ о бабушках-дедушках,

тетях и дядях, семейных традициях старинной интеллигентской семьи, ведущей начало от какого-то разночинца. Она слушала и завидовала. Поэтому молчала, боясь расспросов: ей-то рассказывать было нечего, дальше папы и мамы простиралась беспроглядная деревенская глушь, от которой и следов не осталось. Даже фотографии оказались выброшены недрогнувшей папиной рукой при очередном переезде. А считать себя знаменитым предком (по-ломоносовски) пока не получалось по молодости. Её прошлое было прошлым её страны, всего мира, вплоть до цилиндрических печатей Междуречья и каменных фигурок палеолитических венер. Но это прошлое есть у всех, кто любит историю.

Прошлое Николая Николаевича тоже история — но эта история для него материализована как-то по-другому. Она была его семейной историей, с причудливо переплетенными между собой воспоминаниями и преданиями, с вещами, окружавшими его сейчас. Она действительно была его родной историей. И поэтому он ее любил — всю, без купюр и лакун, такую, как есть, без прикрас и очернительства.

На крашенном масляной краской полу вытянулся до порога световой прямоугольник окна, заалел предвечерне. Она спохватилась. С великим сожалением оттолкнула себя от круглого стола: «Пора и честь знать. Вы очень терпеливы».

— Приходите послезавтра в гости, я познакомлю вас с Антоном, он прекрасно играет вальсы.

— Увы, я завтра уеду и вряд ли приеду сюда когда-нибудь еще.

— Жаль. Я мог бы рассказать вам еще множество историй, даже риска надоесть. На даче давно не было новых гостей. А старым знакомым давным-давно известны все мои истории.

— Вы часто их рассказываете?

— Часто. Раз в двадцать лет примерно.

— Тогда ваш риск вполне оправдан. И все-таки мне пора, потому что меня ждут.

Она вышла на крыльцо, медленно спускаясь по ступеням, скользнула по разошедшимся перилам пальцами и, обернувшись на последней ступеньке, задумчиво проговорила: «Все-все по-старому, бывалому, да только без меня».

Николай Николаевич, спускаясь следом, резко остановился, как будто что-то внезапно вспомнил, потемнел лицом, потом медленно дошел до нее, задержался слегка и торопливо пошел вперед по тропинке. Она поняла, что нечаянно что-то сломала — не то в его душе, не то в их беседе. У калитки он остановился, поджидая, и лицо опять просветлело и разгладилось.

— Ваши истории надо все записать. Это все-все очень интересно. Напишите, пожалуйста, а я напечатаю их в газете. Хотя бы одну.

— В какой газете вы работаете?

— «...е новости».

— Спасибо. Я подумаю над вашим предложением. На какой адрес писать?

— А вы запомните?

— Постараюсь, у меня достаточно точная память. Но я вам не обещаю ничего. На письма нужно время. Или настроение. Мне в последние годы не хватает ни того ни другого.

Она проговорила адрес, и Николай Николаевич, как школьник, повторил его вслух. Потом открыл калитку и остался стоять, глядя, как она торопливо уходит, стуча каблуками по старому серому асфальту. Она обернулась пару раз, махнула на прощание рукой, вскинула на плечо ремешок сумочки и полетела, понеслась сквозь вечернюю прохладу в теплое двухкомнатное гнездо университетской подруги.

...Зимой в редакцию пришло письмо. Секретарь-письмоводитель долго вертела его в руках, потом хмыкнула и громко прочитала адрес: «Лене, приезжавшей летом на Старую дачу, лично в руки». Потому письмо ей

в руки и попало, что сидела она в той же комнате, что и молоденькая девушка, регистрировавшая корреспонденцию.

«Здравствуйте, Лена. — Так просто начиналось письмо. — Помните, я сказал вам, что на письмо нужно время или настроение? Теперь у меня есть и то и другое, но боюсь, что напишу вам не совсем ту историю, которую вы ждете. Но жизнь складывается как складывается, не всегда так, как хотелось бы. У меня появилось время — я стал безработным, и видимо, надолго. И мне пришлось сесть за письмо, потому что появилась потребность объяснить кое-что вам, а может быть, себе.

Наша встреча действительно была чудом — последним чудом, произошедшим на Старой даче, а она, поверьте, повидала чудес на своем веку. В тот день, поднимаясь на веранду, я увидел на фоне окна силуэт своей жены. Она читала книгу, ей было 30 лет, как в тот день, когда она последний раз держала эту книгу в руках. Но я не вздрогнул, боясь спугнуть чудо. И познакомился с вами. Может быть, именно поэтому мне захотелось рассказать вам все-все про Старую дачу — так я рассказывал про нее Тане, так мой отец рассказывал про нее маме, а дед — бабушке. Один раз в жизни, чтобы подарить дачу любимой женщине раз и навсегда, как это однажды сделал прадед.

Но чудо не повторяется. Повторяется лишь горечь утрат, особенно когда что-нибудь вновь напоминает о них. Спускаясь по лестнице, вы произнесли слова, от которых я вздрогнул — и не сумел этого скрыть. Они напомнили другой летний день, пятнадцать лет назад, когда так же, скользнув пальцами по перилам, Таня сказала «Все-все по-старому, бывалому, да только без меня». И ушла навсегда из Старой дачи, из моей жизни.

Татьяна Михайловна живет теперь в США с умным и трудолюбивым мужем, растит двоих сыновей и изредка приезжает в Москву повидаться с Антоном. У них добрые, спокойные отношения, и Антон ездил в Америку. Он переписывается с американскими братьями, чтобы практиковаться в английском языке. А они отвечают ему на русском. Забавно читать их письма, там много неожиданностей. Но я пишу не об этом.

Старая дача сгорела. Мне сообщил об этом знакомый, живущий в городке, написав письмо. Антон, узнав об этом, рыдал, как ребенок. Он, наверное, прощался с детством, второй раз. Первый раз он так рыдал, узнав, что мама уехала в Америку. Но я почему-то пережил известие о гибели Старой дачи довольно спокойно. Давно ждал чего-нибудь подобного. Возможно, с того дня, когда ушла жена. Мне даже стало казаться со временем, что я слышал за спиной треск горящих досок именно в те минуты, когда она уходила по улице к станции. Я даже удивлялся, что Старая дача все еще стоит — в посёлке каждую зиму горят одна-две дачи. Но судьба была милостива к ней, дав возможность вырастить и воспитать осиротевшего мальчика. Моя мама будила Антона по утрам, называя его Колей — по привычке.

Антон вырос, а дача сгорела. Я думаю, что он переживет этот удар. Он молод, влюблен, у него есть друзья. А свою невесту повезет куда-нибудь на Канары — он работает в иностранной фирме и зарабатывает хорошо. Хотя мне, конечно, хотелось бы, чтобы сын построил дом где-нибудь в маленьком тихом городке, необязательно в том, где его прапрадед купил сто лет назад дачу. Но я обещал вам написать историю, а не свои мечты.

Если вы надумаете опубликовать мое письмо, я не против, хотя оно кажется мне путаным и невразумительным.

С уважением

Николай Николаевич Петров».

...Она еще раз пробежала глазами строчки, написанные аккуратным четким почерком — почерком человека, привыкшего заполнять паспорта технических чертежей. И остро пожалела о том, что конверт оказался без обратного адреса.